

Как у всякого настоящего писателя, у Леонова нет случайных, «неработающих» деталей: еще более жестоким образом опрокидывает он идеологическую риторику Поли сценой первого прихода в дом отца — профессора Вихрова, где ее встречает забытая за время жизни на «периферии» родная тетя — горбатенькая Таиска. Действительно, как Таиска, обремененная горбом, войдет в прекрасный мир коммунизма, где должно все быть «красиво» — «без боли, зла, неправды»?!

Что образ «горбатенькой» несет в романе огромную смысловую нагрузку, серьезно корректируя социально-идеологический миф о безоговорочно всеобщем равенстве, свидетельствует повторяющийся в творчестве Леонова мотив человеческого уродства, природного несовершенства человека. Это и передвигающийся на костылях Исаяк из пьесы «Половчанские сады» (1938), и горбун Алёша из «Пирамиды», где спор о природе равенства-справедливости поднят уже на теологическую высоту. При всеобщности, всеединстве и всемогуществе Бога, размышляет главный герой книги отец Матвей, «откуда взялась боль на земле, почему горя и радости роздано людям не поровну?»

Временем, когда создавался «Русский лес», вопрос о Боге полностью был исключен из повести дня, поэтому философскую проблему о пределах человеческих возможностей в преобразовании мира Леонов должен был перевести в сферу действия иных Высших сил. Так с первых страниц повествования входит в роман понятие судьбы, важность которого писатель подчеркивает типографической разрядкой: «Не сердитесь, Наталья Сергеевна, — говорит Поля... — Но сегодня вы уже три раза подряд называли слово судьба. Мы на эту тему даже коллективное обсуждение у себя в Лошкареве провели... и выяснили наконец, что это — вредное слово слабым, ничего не выражающее, кроме бессилия. Так что судьбы-то нет, а есть только железная воля и необходимость». Дипломатично осторожных возражений Наталья Сергеевна со ссылкой на собственный опыт жизни оказывается явно недостаточно, чтобы сломить фанатичный натиск «ладной комсомолочки», с пеленок впитавшей позитивистский дух веры в прямую и безостановочный путь к всеобщему счастью, в непогрешимую суть «человеческого, слишком человеческого», так что испытание героини судьбой превращается в повествовательную логику всего романа по принципу, совпадающему с убеждением Вари: «Жизнь вообще строится сложнее любых предположений».

Диалог между автором и героями, а одновременно и с читателем идет по самым кардинальным вопросам мироустройства, касается самых существенных категорий и сторон бытия: соотношения времен — сиюминутного и вечного, социально детерминированного и природного, пределов человеческих возможностей в преобразовании жизни, целей и средств их достижения, что в целом существенно корректировало прогандистский миф о прямолинейном ходе исторического развития, о безоговорочно абсолютной роли прогресса, окончательной и полной победе возникшего после революции общества, наконец, безальтернативности революционного пути изменения мира. В этом смысле философская интенциональность предстает как доминантное начало его повествовательной структуры и именно в этот философский контекст оказывается органически вписанной проблема судеб русского леса.

Особая глубина художественного разрешения этой проблемы в романе определяется своеобразием его композиционного плана — открытым несопадением его фабульного и сюжетного пространства. Реальное действие романа «Русский лес» сосредоточено на очень коротком временном отрезке русской истории, совпадшем с началом Великой Отечественной войны, большая же часть романного действия переведена в ретроспективный план, воссоединение которого с реальным временем рождает ощущение широкой панорамы русской жизни, движущейся во времени и подверженной смене общественных формаций — от капитализма к социализму, а в сознании современного читателя к вновь возвратившейся рыночной экономике, что создает креативный фон для формирования нового взгляда на советскую действительность, снимая с неё тот мрачный флёр, которым оказалась окутанной она в перестроечные годы.

Именно через воссоединение реально действия с его богатой ретроспективой открывается глубинный смысл романного конфликта, происходит сражение судьбы главного героя с судьбой русского леса, становится ясно, как мальчишка из лесной глу-

хомани Ваня Вихров «вырос в высоту своей науки», стал автором знаковой книги «Судьба русского леса», превратился в бесстрашного борца за его сохранность. И тут снова невозможно отвлечься от чеховских коннотаций уже не только с пьесой «Дядя Ваня», но и с более ранней — «Леший» (1899), в альтруистическую программу жизнедеятельности героя которой Михаила Львовича Хрущева, явившегося литературным прототипом Астрова, защита леса входит в первую очередь. В пьесе охвачен весь комплекс лесных угроз — безответственная торговля лесными угодьями, срубы и порубки, пожары... Героя терзает предельная негарантированность сохранности леса, полная зависимость от человеческого произвола. Любимой ценой пытаясь предотвратить попытки профессора Серебрякова ради жизненного благоустройства продать свой лес на сруб, он не может сдерживать негодования: «Повалить тысячу деревьев, уничтожить их ради каких-нибудь двух-трех тысяч, ради женских тряпок, роскоши... Уничтожить, чтобы в будущем потомство прокланало наше варварство! Если вы, ученый, знаменитый человек, решаетесь на такую жестокость, то как же должны делать люди, стоящие много ниже нас? Как это ужасно!»

Чеховские аллюзии возникают и при восприятии сцены циничного торга за украденный когда-то у мужиков лесной Облог между разорившейся барыней Сапегинной и известным лесопромышленником Кнышевым, который «по слухам, вырубил полмиллиона десятин и снял зеленую одежду с трёх великих русских рек». Но если у Чехова картина сведения леса под корень представлена в «Лешем» гипотетически, как предотвращенная опасность, то в «Русском лесе» она увидена глазами маленького Ивана и врезалась в его память как самое страшное видение реальной жизни. На Облоге кончился мир его детской сказки, олицетворенный в образе лесного отшельника Калины, жившего в сторожке под «могучей хвойной старухой — сосной».

Картина умертвления Облога принадлежит к числу самых проникновенных страниц не только романа, но и в целом русской литературы. «Крупнейшая лесная операция, — сообщает повествователь, — была обставлена с кнышевским размахом... и грянул железный ливень по Облогу, низовой ливень в тысячу дружных топоров. Рваный гул огласил окрестность, и, как над всяким побоищем, взмыла и загорланила чёрная птица. Целых два дня бор стоял несокрушимо, словно каждую ночь свежая смена заступала место павших; к концу третьего, когда артели врубались в чащу, Облог дрогнул и заметно попятился; дело пошло спорей. Сваленный лес тут же превращался в тёсанную шпалу... потом везли куда-то в сизую, мерзлым туманцем подернутую даль, где раньше в эту пору, бывало, учились подвывать волчи выводи, а теперь, если не мнилось уху, уж продирались сквозь тишину паровозный свисток... Сосну берут по март, покуда крепко санный путь, и Кнышев торопился, чтобы с мая встать за липу, тотчас по началу сокодвижения».

На глазах ребенка погибла и старуха-сосна, укрывавшая сторожку Калины. Ее, исходя негласно удалой и желанием «погреться чуток», срубил сам Кнышев, и когда «ударил в самый низ... где подобно жилам, корни избегали на ствол, мальчик Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему рук». Дерево умирало, как человек: «Сосна стояла по-прежнему, вся в морозном сиянии. Она еще не знала, что умерла... и вдруг целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне, ломала сучья, сдувала снег, — сугробы валились наземь, опережая ее падение...», и, как во многих других случаях, автор не сдерживается, чтобы не заключить эту сцену феноменологического свойства сентенцией: «Нет ничего медленней и томительней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя смутные грезы детства!». И если «плакала Саша, как лес вырубали» у Некрасова, то «глазами полными слез» смотрел на лесное побоище и маленький Иван, но по-мужски сорвав свой мальчишеский гнев на разбойничью силу Кнышева, метнул в него камнем из рогатки. Однако и сам писатель не пощадил обидчика русского леса, расправившись с ним по всей строгости законов нравственного императива.

Внимательное вчитывание в романский текст убеждает, что лесные драмы и катастрофы писатель не связывает с характером общественно-экономической системы, а возводит непосредственно к самой природе лесной, первоисходно противоречивой сути человека, общей неспособности человека трезво смотреть в будущее — без ослепления злобой дня. И если в ситуации

набиравшего силу капитализма лес в России оказывался страдательной стороной, превращаясь в объект безудержного хищничества в просторах рыночной стихии, то с торжеством плановой экономики социализма он становился столь же беззащитной жертвой уже сознательно выстроенной доктрины — позитивистской веры в непреклонность научно-технического прогресса, отношения к природе как враждебной человеку силе, борьба с которой входила в программу обустройства нового общества.

При изображении советской действительности Леонов остерегаётся рисовать картины лесных побоищ, переводя остроту лесной проблемы на уровень научно-технических споров о судьбах русского леса, в результате чего на первый план романских коллизий выходит конфликт двух ученых лесоведов, знавших друг друга еще со студенческой поры. Оба они — Вихров и Грацианский — по молодости лет отдали дань заигрыванию с революционными идеями, но пути их разошлись: волею капризной судьбы Грацианский оказался втянут в темные дела царской охранки, и страх разоблачения дамочным мечом висел над ним всю жизнь. Исследователи творчества Леонова до сих пор акцентируют внимание на этом факте биографии героя, с ним именно связывая его стремление подорвать научный авторитет Вихрова. В действительности конфликт двух ученых вовсе не классово-идеологический, а по внутренне скрытой сути своей относится к категории антропологических, феноменологических, нравственно-этических, требующих рассматривания в параметрах «гений и злодейство».

Буквально на генетическом уровне (отец Ивана Матвей погиб в хохлах за крестьянский интерес в лесном Облоге) пропитавшись болью за судьбу русского леса, Вихров и как советский ученый отстаивает идею бережливо-сохранного лесопользования, замены бесконтрольно-диких лесоповалов разумным, научно-обоснованным лесоустройством, словом, как вслед за своим учителем профессором Туляковым повторяет Вихров «имелась в виду та самая система лесного хозяйства, когда в целях сохранения источника древесины ежегодная вырубка производилась в объеме полученного за год прироста». Как писатель Леонов досконально, во всех глубинах и тонкостях изучил лесное дело, по сию пору числясь в ряду почетных российских лесовиков, так что проникновение лексикона популярного в литературе тех лет производственного жанра оказалось неизбежным. Беззаветное служение лесу придает трудам Вихрова неизъяснимую силу воздействия на слушателя ли, читателя ли, заставляя изумляться, как такой силы «зычный хозяйственный окрик и гневная ирония в адрес расточителей зеленого достояния могли исходить из такого щуплого человеческого инструмента».

Именно в один из таких моментов вслушивания в текст вихровской книги и проклюнулось в душе Грацианского зерно ревнивой зависти к таланту коллеги, а столькое ощущение собственного бесплодия подтолкнуло к мысли, «что легче всего двигаться в будущее на горбу идущего впереди». В вихровской теории «так называемого непрерывного лесного пользования», рассчитанной на долготелие, Грацианский зорко высмотрел то, что мог использовать в спекулятивных целях — возможность обвинить коллегу в том, что он сдерживает энтузиазм «воспламеняющей великой идеей» людей, прятая лес от народа, воздвигает некий тормоз на пути нетерпеливого движения к будущему. Так произошло разделение научных ролей коллег — талантливо автора трудов о русском лесе и неизменно сопутствующего ему оппонента, осознавшего, что и «непоказанная ему лесная наука» может послужить надежным средством для достижения карьерных целей. Иезуитски прикидываясь другом, вынужденным лишь во имя высшей истины противостоять Вихрову, по существу Грацианский многие годы паразитирует на подлинности и неоспоримости его трудов, ложным способом создает себе научное имя, и сила его критических ударов, что называется, «под самый дых», увеличивает резерв его популярности в науке до такой степени, что возникают «слухи о предстоящем выдвижении его в члены корреспонденты Академии наук» тогда как над Вихровым нависает реальная угроза оказаться в лагере «врагов народа».

Однако скрытый парадокс этой ситуации состоит в том, что сам по себе, самостоятельно, без Вихрова Грацианский существовать не может, ибо к выдвижению «хоть в малой степени плодотворных для леса предложений» не способен, а главное, в окончательно испровержении Вихрова как источника своего паразитарного существова-

ния не заинтересован, иначе пришлось бы искать новый объект своей карьерной подпитки. Ведь прежде чем в этой роли выступил Вихров, свое критическое оружие Грацианский испытал на другом: «Он поднялся на сокрушении Тулякова», — признается Вихров. В заигрывании Грацианского с «левизной» много соблазнительной современников демагогии, хитрой игры на человеческих слабостях — в частности, на неизбывном стремлении к скорым способом достижения желаемых целей, избыточной жажде к жизненным перестройкам любой ценой. Так формируется у читателя понимание того, что по сути в «распре» Вихрова и Грацианского нашел воплощение, редкое по глубине психологического проникновения в его конкретную суть, вечный конфликт между подлинной, истинной, настоящей наукой и ее видимостью, имитацией, паразитированием на ней, что известно под именем лженауки. И тем более интересен роман современному читателю, что конфликт этот не только не изжит, но скорее наоборот становится изощреннее и опаснее: чем более высокого уровня открытий достигает наука, тем выше становится цена спекуляций на их подлинности и значимости.

Если и отдал Леонов в романе «Русский лес» требуемому «по моде тех лет» дань социалистическому реализму, то, пожалуй, прежде всего это касается благополучного исхода лесного конфликта: в фабульно-сюжетном разрешении его зло наказано, добро торжествует. Конец что Кнышева, что Грацианского, заклятых врагов русского леса, ужасен: судьба одного — превратиться в нищего «с деревяшкой вместо ноги», и «он не просил милостыни — он вымогал ее самым видом своим», другого — кончить жизнь самоубийством, утопив себя в проруби. Вихров же приглашен занять пост директора Лесохозяйственного института, откуда многие годы исходила угроза провозгласить его «врагом народа».

Но не прошло и трех десятилетий после выхода романа в свет, как реальная жизнь России подверглась новой сокрушительной перестройке, русский лес снова превратился в объект буржуазного предпринимательства и, несмотря на благополучный фабульный финал, от самого художественного текста романа веет иногда на читателя такой пророческой безысходностью и неверием в общий разум человечества, которые предвещают появление его «последней книги» — романа-наваждения в трех частях «Пирамида», представляющей как «Апокалипсис нашего времени»: «Видимо, главные истины о лесе будут открыты, когда он вовсе исчезнет с лица земли...», — говорит учитель Вихрова профессор Туляков. И с горечью добавляет: «...и я считаю, что это вполне в силах человеческих».

Пока этого не произошло, не худо было бы извлечь из великой книги русской литературы о русском лесе некоторые необходимые для продолжения жизни человека на земле уроки: сделать ее, например, настольной книгой чиновников из лесного ведомства страны, заставив — на первый случай — возродить институт лесников, лесных обходчиков, о которых Леонов сказал слова самой высокой проникновенности: «В прежние годы лесника потому в военную форму и рядили, что он есть караульщик при лесной казне, тот же солдат...». Образ одного из таких лесных солдат, рядовых хранителей зеленого достояния России Вихров пронес через всю жизнь, застал и приближение его кончины. Как смерть дерева бывает похожа у Леонова на смерть человека, так и Миней Лисагонов умирает подобно дереву: «Оно и пора: — говорит Минеева бабка, — давно с нашего дерева облетели листики... вот только два и остались. Да вишь, не отпускает его кормилец-то: держит, ласковый! — Она лес имела в виду». И если уж невозможно сегодня вернуть былые масштабы читаемости романа, то следовало бы издать миллионным тиражом знаменитую лекцию Вихрова о судьбах русского леса, занявшую всю седьмую главу романа, дабы ввести ее в арсенал хрестоматийного чтения — программно-школьного обучения.

Пройдут годы, может быть, человечество образумится и перестанет подпиливать сук, на котором сидит, может быть со временем потеряют остроту споры о методах лесоустройства, но роман Л. Леонова не перестанет излучать эстетическое и духовное воздействие на читателя благодаря встрече с героями, характеры которых вскрывают подлинную глубину человеческой природы. И навсегда сохранится колдовская, завораживающая сила художественного слова романа, равная по неизбывной силе своей русскому лесу.

Л. П. Якимов, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН, д. ф. н.